
Оригинал находится здесь: [In Folio: электронная библиотека](#)

I

Когда стемнело и в комнатах зажгли огонь, он достал из-под кровати толстые непромокаемые сапоги и стал надевать их. От воды кожа съежилась и затвердела, сапог с трудом входил на ногу, и с гримасой злости и отвращения Павел притопнул ногой. Потом, точно ослабев от сделанного усилия или вспомнив что-то важное, чего нельзя забывать ни на минуту, он бессильно бросил руки на постель, сторбился, так что голова вошла в плечи, как у больного или старика, и задумался. В доме ходили, разговаривали, весело стучали чайной посудой, и маленькая Катя, оставленная, очевидно, нянькой и добравшаяся до рояля, выстукивала все одну и ту же звонкую и веселую нотку, — а он сидел неподвижно, с одной обутой ногой, смотрел в пол и думал о том важном и страшном, о чем нельзя забывать ни на минуту. И дышал он так тихо, что можно было стать рядом и не догадаться, что тут есть живой человек.

Мать увидела его, когда он проходил через столовую, и тревожно спросила:

— Ты куда, Павлик?

Павел, не оборачиваясь, ответил:

— К товарищу.

Говорил он басом и был длинный, с узкими, покатыми плечами, не похожий ни на толстого, короткошеего отца, ни на малорослую мать. И когда он скрылся в кухне, через которую ходили обыкновенно домашние, мать подумала, что и на этот раз он не поцеловал ее, уходя, и что теперь он никого не целует: ни мать, ни отца, ни сестер. Два раза он возвращался домой пьяный, и в столе у него, под тетрадами, она подсмотрела большой страшный револьвер и предполагала, что у Павла роман с какой-нибудь дурной девушкой, из-за которой он может наделать беды. Отец его тоже хотел застрелиться, когда был женихом, и не застрелился только потому, что нигде не мог достать револьвера и она отговорила его. "Все они хотят стреляться", — подумала она с невольной улыбкой, но все-таки решила завтра же украсть опасное оружие и передать отцу. Пусть с ним и разговаривает.

Ночь была черна от низкого, покрытого тучами неба и от черной земли, которая вся за последние дни пропиталась дождевой водой, и когда свет из окна падал на протоптанную среди грязи тропинку, она лоснилась, как черный атлас. Фонарей на этой захоластной улице не было, и Павел шагал наудачу; раз он больно ударился коленкой о столбик и брезгливо сморщился: ненужная и вздорная боль мешала думать. Кругом находились сады, и пахло так хорошо, как пахнет во время дождя в лесу: сыростью, березовым листом и какими-то цветами, которые только и пахнут в сырую погоду. Низкие и плотные тучи пригнетали душистый воздух к земле, и он был густой и теплый, как липовый мед, и груди делалось от него широко и больно. И, ощущая эту странную, задумчивую и нежную боль, похожую на далекую песню без слов, Павел не мог понять ее, как не мог он понять ни весны, ни жизни, ни самого себя.

Казалось, что темнее не может быть, но, когда Павел вышел на берег реки и уже не видно было силуэтов домов и огоньков в окнах, тьма стала глубокой и тяжелой и так близко надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. И грязь стала глубже и лужи чаще, и уже не пахло садами, а только широкой невидимой водой и тучами. Сапоги шлепали, и этот тупой, одинокий звук, раздававшийся за спиной и таинственно умолкавший, когда Павел останавливался, навел на него страх. Нашупав в кармане револьвер, Павел положил на него руку и так, оглядываясь и прислушиваясь, дошел до железнодорожной насыпи и по скользким ступенькам взобрался на нее.

На мосту никого не было, и Павел тихо, стараясь не скрипеть ногами по песку, чтобы не услышал сторож, прошел мимо освещенной будки и скрылся во тьме глубокой выемки, похожей на днище огромного длинного гроба. И тишина тут была такая, как в гробу, и воздух неподвижный, сдавленный, как будто им